



Василий Михайлович Алексеев (1881—1951), выдающийся советский знаток и исследователь китайской культуры, родился в Петербурге, в бедной семье мелкого заводского служащего. Среднее образование получил он в Кронштадтской гимназии, в которую был определен «на казенный счет». Его научная деятельность началась сразу же после окончания С.-Петербургского университета в 1902 году. С 1918 года В. М. Алексеев — профессор Петроградского университета, с 1929 года — действительный член Академии наук СССР.



Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1970



Тя Сун-лин Лисьи чары

Рассказы Ляо Чжая
о чудесах

В переводах
с китайского
академика
В. М. Алексеева

Иллюстрации
китайских
художников

Издательство
«Художественная
литература»
Москва
1970

И (Кит)
П88

Предисловие к сборнику
«Лисьи чары»
и комментарий
В. М. АЛЕКСЕЕВА

Составление и подготовка текста
Л. З. ЭЙДЛИНА

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Академик Василий Михайлович Алексеев родился в 1881 году, умер в 1951 году. Замечательный советский ученый, выдающийся знаток китайской культуры, он славен своими трудами во многих областях синологии — науки о Китае. Среди выпущенных им переводов китайской классической литературы видное место занимают сборники рассказов писателя XVII — начала XVIII века Пу Сун-лина «Лисьи чары» (1922), «Монахи-волшебники» (1923), «Странные истории» (1928), «Рассказы о людях необычайных» (1937).

Прошло больше тридцати лет после издания последнего из этих сборников, почти полвека — после того, как советский читатель, благодаря В. М. Алексееву, впервые узнал о сразу привлечших его «странностях» Ляо Чжэя. Переводы В. М. Алексеева стали библиографической редкостью. Не то чтобы читатель наш оказался окончательно обездоленным: они были однажды переизданы, и найти их и насладиться ими всегда можно. Переиздания эти под редакцией и со статьями Н. Т. Федоренко сыграли свою роль в нашей культуре. Они вернули — на этот раз читателям пятидесятых годов — былую популярность Пу Сун-лина и вновь доставили нам радость общения с человеком, послужившим посредником между нами и знаменитым китайцем XVII столетия. Но уже и переиздания давным-давно раскуплены, и выросли новые поколения читателей, и пришла пора снова напом-

Оформление художника
Н. И. КРЫЛОВА

7—3—4
256—69

нить об одном из высоких образцов китайской классической прозы и советского переводческого искусства.

Так возникла мысль объединить в одной книге избранные переводы из всех четырех сборников. Возложенная на составителя ответственность за это заставила его со всем вниманием обратиться к переводу В. М. Алексеева и к творениям Пу Сун-лина. В распоряжении В. М. Алексеева были все издания «Рассказов Ляо Чжая о чудесах» да к тому же и глубокое знание языка, культуры и верований китайского народа, и многие возможности беседовать с китайскими учеными старого толка и просто с читателями и слушателями рассказов Ляо Чжая. На глазах В. М. Алексеева происходила демократизация творчества Пу Сун-лина — «перевод» старинного литературного текста на разговорный язык, превращение его в устный сказ, издание в одной и той же книге оригинала и «перевода». Этот процесс, совершившийся на родине Пу Сун-лина, помог переводчику осознать и трудности, стоявшие перед ним, и возможности их преодоления.

Уже после кончины В. М. Алексеева «пусунлиннава» пополнилась. В 1955 году была опубликована авторская рукопись «Рассказов Ляо Чжая о чудесах». Рассказы Пу Сун-лина до первого ксилографического издания их в 1766 году расходились в списках. Единственный сохранившийся полный список относится к 1752 году. Опубликованная в 1955 году рукопись была найдена в 1948 году, после освобождения уезда Сифэн на северо-востоке Китая, в бедном крестьянском доме. Сличение надписи, сделанной Пу Сун-лином на известном его портрете, со знаками рукописи явно свидетельствует о принадлежности ее самому автору, вписавшему своею рукой также и замечания видного критика XVII — начала XVIII века Ван Ши-жэня. К сожалению, обнаружена лишь часть рукописи, содержащая около половины рассказов о чудесах. В 1962 году вышло в свет подготовленное Чжан Ю-хэ новое, трехтомное издание рассказов Пу Сун-лина, в котором сведены воедино все наличествующие комментарии и текст сверен с авторской рукописью.

Составитель книги переводов В. М. Алексеева доводит обо всем этом до сведения читателей и по необходимости, и для того, чтобы сообщить о полученной возможности на основе последнего китайского издания сделать несколько мельчайших изменений в переводах В. М. Алексеева, подчеркнув и таким образом неукоснительный для нас принцип невмешательства в них. На взгляд составителя, в обязанность которого входило

и сопоставление их с оригиналом, они превосходны. В них терпкость и аромат подлинника, в них удивительное проникновение средствами алфавитного письма в иероглифический «зрелищный» текст. Поясним это на примере, как говорится, из первого попавшегося рассказа — «Седьмая Сяо и ее сестра». В этом рассказе появляются люди, на которых надеты «э гуань», что означает (заглянем ли мы в толковый китайский словарь или в старый китайско-русский словарь Палладия) «высокие шапки». Но смысловую часть иероглифа «э» представляет гора, рисующая определенный образ глазу китайского читателя, и В. М. Алексеев пишет: «В один миг появилось четыре или пять человек в высоких, горой стоящих шапках...» А как не восхититься тонкостью и тактом в переводе однообразных (для русского читателя) заглавий, часто состоящих из одних имен! К имени лишь добавляется характеризующее его определение («Смешливая Ин-нин», «Воскресший Чжур», «Некий И, удачливый вор», «Нежный красавец Хуан Девятый»). Мы видим, что вольность здесь оборачивается той точностью, какую настоящему художественному переводу только вольность и дает.

Внимательный читатель, конечно, заметит все большее от сборника к сборнику пристрастие переводчика к полноте передачи национальных особенностей быта и фразеологизмов, требующее и большей широты примечаний. Читателю предоставляется право судить о том, какую манеру найдет он для себя предпочтительной. Во всех этих переводах, делавшихся на протяжении пятнадцати лет, В. М. Алексеев совершенно передает изящество китайского текста, характерную ляочжаеву смесь из конфуцианской утонченной учености, канцелярских штампов и не всегда удобопроизносимых по своей откровенности слов. Этот язык труден, он не раз повергал в смущение даже китайских комментаторов начала XIX века, не избегших ошибок, и тем серьезнее заслуга нашего соотечественника, труд которого подарил нам прелесть Ляо Чжая.

В настоящей книге полностью дано предисловие В. М. Алексеева к «Лисьим чарам» (почему мы и не останавливаемся подробнее на писателе) и в отрывках предисловия к остальным трем сборникам. Примечания переводчика уточнены нами там, где требовались эти уточнения для нынешнего читателя, знающего о Китае неизмеримо больше, чем его предшественник двадцатых — тридцатых годов. Остается еще раз подчеркнуть, что в переводе мы не коснулись даже выглядящих в настоящее время странно «фута», «вершка», «ланы серебра»

(в женском роде) и т. п. Они ведь никак не мешают читательскому восприятию, а скорее способствуют тому впечатлению, какое должна произвести книга, по нашему замыслу, в первоизданном ее состоянии. Мы сохранили и «пятьсот миллионов китайцев» (в предисловии к «Лисьим чарам»), что должно быть для нашего времени исправлено на семьсот, если не на семьсот пятьдесят, как должен быть исправлен и год рождения Пу Сун-лина: автор «Рассказов Ляо Чжэя о чудесах» родился в 1640 году, умер в 1715 году.

Л. Эйдли

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ЛИСЬИ ЧАРЫ»

У всякого народа, в особенности на заре его культурной жизни, есть смутное чувство, говорящее ему, что те животные, которые его окружают, не так уж далеки от человека, как это кажется, судя по отсутствию у них членораздельной речи — этой типичной принадлежности человеческой породы. Наоборот, именно эта жуткая странность, при которой, будучи в данный момент довольными и веселыми, животные не смеются; желая сейчас что-то сказать, не говорят, — эта странность пугает, как неразгаданная тайна, и двуногий царь природы начинает сомневаться в своем непререкаемом владении: наоборот, ему кажется, что его окружают существа, от которых он зависит, которые могут диктовать ему свою волю, благоволя ему или вредя. Одной из таких неразгаданных тайн человеку всегда представлялась лисица, — та самая лисица, которая, с одной стороны, была ему неприятна, ворую у зазевавшегося хозяина кур, но, с другой, — весьма приятна в качестве превосходной шубы, сшитой из шкуры тех лисиц, что, в свою очередь, зазевались и попались в руки предприимчивому охотнику.

Кто из нас не знает, какими качествами наделил кумулису, Лису Патрикеевну, воровку-лису русский человек? Кто не знает таких выражений, как: лисить, лису петь, подпускать лису, лисой пройти, не волчий зуб — так лисий хвост, лиса своего хвоста не замазает, кабы лиса не подросла, то бы овца волка съела и т. п., в которых лиса является образом человека лукавого, хитрого, пролазы, проныры, корыстного льстеца? Русский народ, конечно, не оригинален в данном отношении, и все вышесказанное является лишь примером человеческой

изобретательности, первобытной, простодушной, наивной. Ей еще так далеко до развитого миропонимания, прошедшего школу научного наблюдения и успокоившего свое жуткое ощущение соседства непоцятных животных пониманием биологической панорамы.

Китайский народ, прежде всего, не отставал в этом отношении от других. Так, ему лиса представлялась всегда символом осторожности и недоверчивости. «Лиса сама закапывает, сама же и раскапывает» — при такой подозрительности никакое дело нельзя сделать. Затем, китайцу лиса точно так же, как и другим народам, кажется хитрым и лицемерным существом, водящим за нос сильных и свирепых зверей, как, например, в одной басне, известной не только одним китайцам (хотя и помещенной в одном древнем тексте), — в басне о лисице, идущей впереди тигра и принимающей на свой счет почтительное поклонение, расточаемое встречными, конечно, только тигру. Далее, так же, как и у нас, лисица в Китае представляется существом, одаренным особой способностью к вкрадчивому лицемерию, легко обольщающему жертву и потом безжалостно ее же эксплуатирующему. Наконец, все эти качества, на которые жалуется создающий басни и поговорки крепкий задним умом наивный человек, подчеркиваются китайцем, когда он говорит о лисе как об определенном злом существе, одинаковом в этом отношении с шакалом и волком, — хищном, свирепом, отвратительном. Отвращение к лисе видно даже в таком китайском выражении, как «лисий запах», означающем противную вонь, идущую от больных и неопрятных людей из-под мышек.

Однако китайцу — не в пример, по-видимому, прочим — лиса представляется и полезным существом. Не говоря уже о ее шкуре, ценимой не менее, чем где-либо, китайская медицина знает весьма полезные свойства лисьего организма, части которого, например, печень, могут исцелять злую лихорадку, истерию, внезапные обмороки, а мясо ее вообще может, как говорят даже солидные китайские медицинские трактаты, — в особенности если его приготовить должным образом, — исцелять случаи «крайнего испуга, обмороков, бессвязной речи, беспричинных, безрассудных песен, скопления холода во внутренних органах, злостного отравления» и других подобных болезней. Лисья кровь, как говорит в своем знаменитом сочинении один из китайских мыслителей первых веков до нашей эры, сваренная с просом, дает способность избегать опьянения и т. д. и т. д. Одним словом, лиса, оказывается, не так уж безнадежно

плоха. Наоборот, — и здесь китайская фантазия идет, по-видимому, впереди всех народов, — она оказывается наделенным редким свойством долголетия, достигающего тысячи лет, и, значит, вообще сверхчеловеческими, даже божескими особенностями. Эти качества прежде всего делают ее, конечно, доброю, ибо такова воля умиловляющего ее человека, который, страшась и подозревая ее в душе своей, боится ей это показать. Так, девятихвостая белая лисица, жившая в горе Ту, явилась древнему герою китайского исторического предания, императору Юю (XXIII в. до н. э.), и он женился на ней, как герой на фее. «Небесная лисица, — говорит другое литературное предание, — имеет девять хвостов и золотистую шерсть; она может проникать в тайны мироздания, покоящиеся на чередовании мужского и женского начал».

Эта волшебная фантастика, которую китайский народ, неизвестно даже, с какого времени, окутывает простого плотоядного зверька, разрастается до размеров, которые, по-видимому, совершенно чужды воображению других народов.

Вы проходите по китайским полям и вдруг видите, что перед каким-то курганом стоит огромный стол, на котором покоится ряд древнего вида сосудов, знамена, значки и все вещи, свойственные, насколько вам известно, только храму. Вы осведомляетесь у прохожего мужичка, что это такое, и слышите в ответ: «Это фея-лиса» (хусянье). Она, видите ли, живет где-то тут, в норе, и ее упрашивают не вредить бедному народу, — и не только не вредить, а, наоборот, благодетельствовать ему, как благодетельствуют прочие духи. И вы действительно читаете на знаменах и особых красивых лакированных досках крупные надписи: «Есть у меня просьба — непременно ответить!», «Смилуешься над нами, стадом живых» и т. д. Словом, лиса становится анонимным божеством, равноправным со всеми другими, которым в Китае имя легион. Вот в этой-то своей роли божества, наделенного к тому же способностью принимать всевозможные формы, начиная от лисы-зверя и кончая лисой-женщиной и лисой-мужчиной, во всяком их дальнейшем разнообразии, смотря по тому, на кого и во имя чего требуется воздействовать, вот в этом мире превращений лиса и кружит человеческую голову всевозможными химерами, создающими самое необыкновенное течение событий там, где обычная человеческая жизнь проста, убога, скучна. На этой почве и развились повести и рассказы Ляо Чжая, перевод которых здесь печатается. Перед русским читателем здесь разворачивается самая прихотливая картина сверхъестественного вмешательства

ства лисицы в человеческую жизнь. Она окутывает его злым наваждением, не давая ему жить спокойно в своем же доме и велит поступаться самыми насущными вопросами совести. Она оболыцает бедного человека своею нечеловеческой красотой и, воспользовавшись любовью, пьет соки его жизни, а затем бросает в жертву смерти и идет охотиться за другим. Лиса превращает его в бездушного исполнителя своих приказаний, велит ему действовать, как во сне, теряя ощущение подлинной жизни. И, боясь злых чар лисы, человек, в сердце которого есть решимость, не знаящая сопротивления, объявляет ей войну, ловит ее, рубит ее, натравливает на нее ее врага, сам рискуя пропасть вместе с ней. Однако, если он действует исподтишка, если он, вместо того чтобы самому проявить героизм, идет к колдуну за талисманом или если он, облагодетельствованный красотой своей лисьей подруги, желает от нее избавиться подловатым образом, стараясь при этом ничем не рисковать,— то горе ему! От него лиса отнимет все, что когда-либо ему дала, вынет семя жизни и погубит бесповоротно и окончательно.

Но, вмешиваясь таким образом в жизнь человека, лиса не всегда действует зло. Верно, что она морочит глухих людей, глумится над алчными и грубыми, охотящимися за счастьем, которое им на роду не писано. Верно, что она жестоко наказывает за распутство, а главное, за вероломство и подлость по отношению главным образом к ней же,— но разве может все это быть сопоставлено с теми нечеловеческими радостями, которые создает появление в серой и убогой жизни человека оболыцательной красавицы, не требующей ничего такого, что осложняет жизнь, и отдающей человеку прямо и решительно, погружая его сразу же в подлинное счастье, в то незаслуженное и огромное, что в жизни творит жизнь и за которое человек идет на все, даже на свою явную погибель. Лиса приходит к человеку сама, влюбляет его в себя, любит его, становится восхитительной любовницей и верной подругой, добрым гением, охраняющим своего друга от злых людей. Она является в жизнь ученого еще более тонкою, чем он сам, и восхищает его неописуемым очарованием, которое человеку, женатому на неграмотной, полуживотной женщине, охраняющей его очаг и отнюдь не претендующей на неиссякающее любовное внимание, является особенно дорогим и которое развертывает всю его сложную личность, воскрешает ее. С легким сердцем устремляется он к своей гибели. Очертя голову и повинувшись зову очарованной души, он сам, своими же руками разрывает сети

колдуна, в которые попала его чародейка,— и тогда она преображается, несет ему исцеление и, прощаясь с ним, ловко и легко устраивает ему счастливую, теперь уже мирную жизнь. Однако не претендуй, жалкий человек, на счастье, которого ты не заслуживаешь! Лисий смех, леденящий душу, раздается в ответ на твои просьбы, и глупейший мираж будет дан тебе в удел вместо грубого счастья, которого ты цинично себе присишь.

Лиса не только женщина. Она может также явиться человеку и в образе мужчины. Это будет тонко образованный ученый, беседа с которым окрыляет дух; он будет товарищ и друг, преданный беззаветно и искренне, ищущий себе ответа в глубине чужой души, но возмущающийся и казнящий своего товарища за всякую попытку использовать его божественную силу в угоду грубому аппетиту. Лис живет вместе с человеком, ничем не отличается, кроме свойственных ему странностей, но иногда он — невидимка и посылает свои чары только одному своему избраннику, сердце которого не заковано обывательским страхом и слепыми рассказами. Лис-невидимка — все тот же преданный друг, иногда, правда, ненастижимый в своих действиях, похожий скорее на действия врага, но потом действительно оказывающийся подлинным золотом.

Неся человеку фатальное очарование, приводя его к границе смерти, лиса сама же несет ему исцеление, помогающее как ничто на свете. Она хранит пилюлю вечной жизни, горищую в вечном сиянии бледной колдуньи-луны и способную оживить даже разложившийся труп. И перед тем, как стать бессмертным гением надземных сфер, она еще раз вмешивается в жизнь человека и несет ему мир и счастье.

Переводчик и автор этого предисловия предполагает, что эта фантастика, это причудливое смешение мира действительности с миром невероятных возможностей может волновать русского читателя, если он хоть немного склонен к обособлению от жизни, и дать ему ряд переживаний, которые для русской и европейской литературы вообще необыкновенны и интересны.

Эти «Записи необыкновенного, сделанные Ляо Чжаем» («Ляо Чжай чжи и»), можно сказать, не боясь преувеличения, являются в Китае самой популярной книгой. Более того, принимая во внимание число людей, могущих вообще держать книгу в руках, среди общей массы пятисот миллионов китайцев, мы можем, пожалуй, утверждать, что эта книга является если не самой известной, то, во всяком случае, из таковых, говоря теперь

уж обо всем земном шаре. Благодаря совершенной свободе печати и издательства, отсутствию понятия о праве собственности на какое бы то ни было литературное произведение, раз оно уже увидело свет в печати, благодаря дешевизне труда и бумаги, эту книгу вы встретите в любой книжной лавке, в любом книжном уличном развале или лотке; вы увидите ее в руках людей самых разнообразных положений и состояний, классов, возрастов. Книгу эту прежде всего читает, читает с восторгом и умилением перед образцом литературной изысканности всякий тонко образованный китаец, не говоря уже про людей с образованием, по качеству средним и ниже среднего, — людей, для которых Ляо Чжай — восхитительная недостижимость. Однако и для тех, кто не особенно грамотен, то есть не имеет того запаса литературного навыка и даже попросту запаса слов, которым располагает образованный китаец, Ляо Чжай — настоящий магнит. Правда, такой читатель понимает сложный, весь блестящий литературной отделкой текст из пятого в десятое, но даже самая фабула, самое мастерство рассказчика, развивающего перед читателем восхитительную картину человеческой жизни, пленяют его настолько, что он не выпускает из рук этой книги и, конечно, не менее образованного знает содержание ее четырехсот с лишком рассказов как содержание самых ходячих анекдотов.

Однако нам может быть понятно, что читателю этого типа крайне досадно видеть себя в жалком положении человека, питающегося крохами от трапезы господ своих, и он естественным образом всегда стремился, так сказать, к уравниванию своих прав. И вот, если вы пройдете по Пекину, выйдете за ворота маньчжурского города, пройдете по главной улице до Храма Неба, то в этой части столицы вы увидите ряд чайных, где китайский простолюдин внимает своему шошуды, то есть рассказчику, обладающему особым талантом и развитым умением переложить текст и даже стиль Ляо Чжая в такую форму, которая, сохраняя все богатство оригинала, создает особую ритмическую разговорную речь. Таким образом, здесь совершается художественное претворение книжной непонятной речи в живую и понятную, — и китаец малообразованный оказывается точно так же приобщенным к достоинствам Ляо Чжая, как и китаец высокообразованный.

Кто же автор этих рассказов, маг и чародей, сумевший овладеть умами Китая, этой литературной страны, избалованной тысячами поэтов и бесконечным рядом вообще выдающихся писателей?

Пу Сун-лин (по фамилии Пу, по имени Сун-лин), давший себе литературное прозвание, или псевдоним, Ляо Чжай, родился в 1622 году и умер в 1715 году в провинции Шаньдун, находящейся в Восточном Китае, близ морского побережья, с которого простым глазом видны очертания Порт-Артура. Место действия его рассказов почти не выходит за пределы Шаньдуна, и время их не отстает от эпохи жизни самого автора. Вот что о нем рассказывает его, к сожалению, слишком краткая биография, находящаяся в описании уезда Цзычуань, в котором он родился и умер.

«Покойному имя было Сун-лин, второе имя — Лю-сянь, дружеское прозвание Лю-цюань. Он получил на экзамене степень суйгуна¹ в 1711 году и славился среди своих современников тонким литературным стилем, сочетавшимся с высоким нравственным направлением. Со времени своего первого отроческого экзамена он уже был известен такой знаменитости, как Ши Жунь-чжан, и вообще его литературная слава уже гремела. Но вот он бросает все и ударяется в старинное литературное творчество, описывая и воспевая свои волнения и переживания. В этом стиле и на этой литературной стезе он является совершенно самостоятельным и обособленным, не примыкая ни к кому.

И в характере своем, и в своих речах покойный проявлял благороднейшую простоту, соединенную с глубиной мысли и основательностью суждения. Он высоко ставил непоколебимость принципа, всегда называющего только то, что должно быть сделано, и неуклонность нравственного долга.

Вместе со своими друзьями Ли Си-мэем и Чжан Ли-ю, также крупными именами, он основал поэтическое содружество, в котором все они старались воспитать друг друга в возвышенном служении изящному слову и в нравственном совершенстве.

Покойный Ван Ши-чжэнь всегда дивился его таланту, считая его вне пределов досягаемости для обыкновенных смертных.

В семье покойного хранится богатейшая коллекция его сочинений, но «Рассказы Ляо Чжая о чудесах» («Ляо Чжай чжи и») особенно восхищают всех нас как нечто самое вкусное, самое приятное».

Итак, перед нами типичный китайский ученый. Посмотрим теперь, каково содержание его личности как ученого, то есть постольку, поскольку это касается воспитания и вообще куль-

¹ Нечто вроде «действительного студента» былых дней.

турного показателя. Остальное — не правда ли? — уже сообщено в вышеприведенных строках исторической справки.

Китайский ученый отличается от нашего главным образом своею замкнутостью. В то время как наш образованный человек, — не говоря уже об ученом, — наследует в той или иной степени культуру древнего мира и Европы, являющегося вообще сборным соединением разных отраслей человеческого знания и опыта, начиная с религии и кончая химией и чистописанием, — образованный и ученый китаец является — и особенно являлся в то время, когда жил Пу Сун-лин — Ляо Чжай, — наследником и выразителем только своей культуры, причем главным образом литературной. Он начинал не с детских текстов и легких рассказов, а сразу с учения Конфуция и всего того, что к нему примыкает, иначе говоря — с канона китайских писаний, к которым, конечно, можно применить наше слово и понятие «священный», но с надлежащею оговоркой, а именно: они не заимствованы, как у нас, от чуждых народов и не занимают сверхъестественным откровением, а излагают учение «совершенного мудреца» Конфуция о призвании человека к высшему служению. Выучив наизусть — непременно в совершенстве — и научившись понимать с полной отчетливостью и в согласии с суровой, непреклонной традицией все содержание этой китайской библии, которая, конечно, во много раз превосходит нашу хотя бы размерами, не говоря уже о трудности языка, — той библии, о которой в нескольких строках нельзя дать даже приблизительного представления (если не сказать в двух словах, что ее язык так же похож на тот, которым говорит учащийся, как русский язык на санскрит), — после этой суровой выучки, на которой «многи силу потеряли» и навсегда сошли с пути образования, китаец приступал к чтению историков, философов разных школ, писателей по вопросам истории и литературы, а главным образом к чтению литературных образцов, которые он, по своей уже выработанной привычке, неукооснительно заучивал наизусть. Цель его теперь сводилась к выработке в себе образцового литературного стиля и навыка, которые позволили бы ему на государственном экзамене проявить самым достойным образом свою мысль в сочинении на заданную тему, а именно доказать, что он в совершенстве постиг всю глубину духовной и литературной китайской культуры тысячелетий и является теперь ее современным представителем и выразителем.

Вот, значит, в чем заключалось китайское образование. Оно вырабатывало человека, отличающегося от необразованного, во-

первых, тем, что он был в совершенстве знаком с тайною языка во всех его стадиях, начиная от архаической, понятной только в традиционном объяснении, и кончая современной, сложившейся из непрерывного роста языка, который впоследствии прошел еще целый ряд промежуточных стадий. Во-вторых, этот человек держал в своей памяти, — и притом самым отчетливым образом, — богатейшее содержание китайской литературы, в чтении которой он ведь был погружен чуть ли не двадцать лет, а то и больше! Таким образом, перед нами человек со сложным миропониманием, созерцающий всю свою четырехтысячелетнюю культуру и со сложным умением выражать свои мысли, пользуясь самыми обширными запасами культурного языка, ни на минуту не знавшего перерыва в своем развитии.

Таков был китайский интеллигентный человек времен Пу Сун-лина. Чтобы теперь представить себе личность самого Ляо Чжая, автора этих «странных рассказов», надо к вышеизложенной общей формуле образованного человека прибавить особо отличную память, поэтический талант и размах выдающейся личности, которой сообщено столь сложное культурное наследие.

Все это и отразилось на пленительных его рассказах, в которых прежде всего заблестал столь известный всякой литературе талант повествователя. Там, где всякий другой человек увидит только привычные формы жизни, прозорливый писатель увидит и покажет нам сложнейшую и разнообразнейшую панораму человеческой жизни и человеческой души. То, что любому из нас, простых смертных, кажется обыденным, рядовым, не заслуживающим внимания, то ему кажется интересным, тесно связанным с потоком жизни, над которым, сам в нем плывя, только он может поднять голову. И, наконец, тайны человеческой души, видные нам лишь постольку, поскольку чужая душа находит себе в наших бледных и ничтожных душах кое-какое отражение, разворачиваются перед поэтом во всю ширь и влекут его в неизбывные глубины человеческой жизни.

Однако талантливый повествователь — это только ветвь в лаврах Ляо Чжая. Самым важным в ореоле его славы является соединение этой могучей силы человека, наблюдающего жизнь, с необыкновенным литературным мастерством. Многие писали на эти же темы и до него, но, по-видимому, только Ляо Чжай удалось приспособить утонченный литературный язык, выработанный, как мы видели, многолетней суровой школой, к изложению простых вещей. В этом живом соединении рассказчика

и ученого Ляо Чжай поборол прежде всего презрение ученого к простым вещам. Действительно, китайскому ученому, привыкшему сызмальства к тому, что тонкая и сложная речь передает исключительно важные мысли — мысли Конфуция и первоклассных мастеров литературы и поэзии, которые, конечно, всегда чуждались «подлого штиля» во всех его направлениях, — этому человеку всегда казалось, что так называемое легкое чтение есть нечто вроде исподнего платья, которое все носят, но никто не показывает. И вот является Ляо Чжай и начинает рассказывать о самых интимных вещах жизни таким языком, который делает честь самому выдающемуся писателю важной, настовой китайской литературы. Совершенно отклонившись от разговорного языка, доведя это отклонение до того, что поселяне-хлебопашцы оказываются у него говорящими языком Конфуция, автор придал своей литературной отделке такую высоту, что члены его поэтического содружества (о котором упоминалось выше) не могли сделать ему ни одного возражения.

Трудно сообщить русскому читателю, привыкшему к вульгарной передаче вульгарных тем, и особенно разговоров, всю ту восхищающую китайца двойственность, которая состоит из простых понятий, подлежащих, казалось бы, выражению простыми же словами, но для которых писатель выбирает слова-намеки, взятые из обширного запаса литературной учености и понимаемые только тогда, когда читателю в точности известно, откуда взято данное слово или выражение, что стоит впереди и позади него, одним словом — в каком соседстве оно находится, в каком стиле и смысле употреблено на месте и какова связь его настоящего смысла с текущим текстом. Так, например, Пу Сун-лин, рассказывая о блестящем виде бога города, явившегося к своему зятю как незримый другим призрак, употребляет сложное выражение в четыре слова, взятых из разных мест «Шипина» — классической древней книги античных стихотворений, причем в обоих этих местах говорится о четверке рослых коней, влекущих пышную придворную колесницу. Таким образом, весь вкус этих четырех слов, изображающих парадные украшения лошадей, сообщается только тому, кто знает и помнит все древнее стихотворение, из которого они взяты. Для всех остальных — это только непонятные старые слова, смысл которых в общем как будто говорит о том, что получалась красивая, пышная картина. Разница впечатлений такова, что даже трудно себе представить что-либо более удаленное одно от другого. Затем, например, рассказывая о странном монахе, в молодом теле

которого поселилась душа глубокого старца, Пу пользуется словами Конфуция о самом себе: «Мне, — говорит китайский мудрец, — было пятнадцать — и я устремился к учению; стало тридцать, — и я установился...» Теперь, фраза Пу гласит следующее: «Лет ему (монаху) — только «и установиться», а рассказывал о делах, случившихся восемьдесят, а то и больше лет тому назад». Значит, эта фраза понятна только тем, кто знает вышеприведенное место из Конфуция, и окажется, что монаху было тридцать лет, следовательно, перевести эту фразу на наш язык надо было бы так: «Возраст его был всего-навсего, как говорит Конфуций: «когда только что он установился», а рассказывал и т. д. Одним словом, выражения заимствуются Пу Сун-лином из контекста, из связи частей с целым. Восстановить эту ассоциацию может только образованный китаец. О трудностях перевода этих мест на русский язык не стоит и говорить.

Однако все это — еще сущие пустяки. В самом деле, кто из китайцев не знал (в прежнее, дореформенное время) классической литературы? Наконец, всегда можно было спросить даже простого учителя первой школы, и он мог или знать, или догадаться. Другое дело, когда подобная литературная цветистость распространяется на все решительно поле китайской литературы, задевая историков, и философов, и поэтов, и всю плеяду писателей. Здесь получается для читателя настоящая трагедия. В самом деле, чем дальше развивает отборность своих выражений Пу Сун-лин, тем дальше от него читатель. Или же, если последний хочет приблизиться к автору и понимать его, то сам должен стать Пу Сун-лином, или, наконец, обращаться поминутно к словарю. И вот, чтобы идти навстречу этой потребности, современные издатели рассказов Ляо Чжая печатают их вместе с толкованиями цветистых выражений, приведенными в той же строке. Конечно, выражения, переведенные и объясненные выше как примеры, ни в каких примечаниях не нуждаются, ибо известны каждому мало-мальски грамотному человеку.

Таким образом, вот тот литературный прием, которым написаны повести Ляо Чжая. Это, значит, вся сложная культурная ткань древнего языка, привлеченная к передаче живых образов в увлекательном рассказе. Волшебным магнитом своей богатейшей фантазии Пу Ляо Чжай заставил каптового ученого отрешиться от представления о литературном языке как о чем-то важном и трактующем только традиционные темы. Он воскресил язык, извлек его, так сказать, из амбаров учености и пустил в вихрь жизни простого мира. Это ценится всеми, и до сих пор образованный китаец втайне думает, что вся его колоссаль-

вая литература есть скорее традиционное величие и что только на повестях Ляо Чжая можно научиться живому пользованию языком ученого. С другой же стороны, простолюдин, не имевший времени закончить свое образование, чувствует, что Ляо Чжай рассказывает вещи, ему родные, столь милые и понятные, и одолевает трудный язык во имя близких ему целей, что, конечно, более содействует распространению образования, нежели самая свирепая и мудрая школа каких-либо систематиков.

В повестях Ляо Чжая почти всегда действующим лицом является студент. Китайский студент отличается от нашего, как видно из сказанного выше, тем, что он может оставаться студентом всю жизнь, в особенности если он неудачник и обладает плохую памятью. Мы видели, что и сам автор повестей Пу выдержал мало-мальски сносный экзамен лишь в глубокой старости. Мягко обходя этот вопрос, историческая справка, приведенная на предыдущих страницах, не говорит нам о том, что составляло трагедию личности Пу Сун-лина. Он так и не мог выдержать среднего экзамена, не говоря уже о высшем, и, таким образом, стремление каждого китайского ученого стать «государственным сосудом» встретило на его пути решительную неудачу. Как бы ни объясняли себе — он, его друзья, почитатели и, наконец, мы — эту неудачу, сколько бы мы ни говорили, что живому таланту трудно одолеть узкие рамки скучных и вязких программ с их бесчисленными параграфами и всяческими рамками, выход из которых считается у экзаменаторов преступлением, — все равно: жизнь есть жизнь, а ее блага создаются не индивидуальным пониманием людей, а массовой оценкой, и потому бедный Ляо Чжай глубоко и остро чувствовал свое жалкое положение вечного студента, отравлявшее ему жизнь. И вот он призывает своим раненым сердцем всю фантастику, на которую только способен, и заставляет ухаживать за студентом мир прекрасных фей. Пусть, думается ему, в этой жизни бедный студент горюет и трудится. Вокруг него порхает особая, фантастическая жизнь. К нему явятся прекрасные феи, каких свет не видывал. Они подарят ему счастье, от которого он будет вне себя, они оценят его возвышенную душу и дадут ему то, в чем отказывает ему скучная жизнь. Однако он — студент, ученик Конфуция, его апостол. Он не допустит, как сделал бы всякий другой на его месте, чтобы основные принципы справедливости, добра, человеческой глубины человеческого духа и вообще неизблемых идеалов человека были попораны вмешательством химеры в реальную жизнь. Он помнит, как суров и беспощаден был Конфуций в своих приговорах над людьми, потерявшими

всякий масштаб и в упоенье силы начинающими приближаться к скоту, — да! он это помнит и свое суждение выскажет, чего бы это ему ни стоило. И как в языке Ляо Чжая собрано все культурное богатство китайского языка, так и в содержании его повестей собрано все богатство человеческого духа, волнуемого страстью, гневом, завистью и вообще тем, что всегда его тревожило, — и все это богатство духа вьется вихрем в душе вечно юного китайского студента, стремящегося, конечно, поскорее уйти на трон правителя, но до этих пор носящего в себе незыблемо живые силы, сопротивляющиеся окружающей пошлости темных людей.

Кружа, таким образом, своей мыслью около своей неудачи и создавая свой идеал в размахе страстей жизни, бедный студент сумел, однако, высказаться положительно и вызвал к себе отношение, далеко превышающее лавры жалостливого рассказчика. Исповеданные им конфуцианские заветы права и справедливости возбудили внимание к его личности, и, таким образом, личность и талант сплелись в одну победную ветвь над головой Ляо Чжая. И настолько умел он захватить людей своей идейностью, что один император, ярый поклонник его таланта, хотел даже поставить табличку с его именем в храме Конфуция, чтобы, таким образом, сопричислить его к сонму учеников бессмертного мудреца. Однако это было сочтено уже непомерным восхвалением, и дело провалилось.

Содержание повестей, как уже было указано, все время вращается в кругу и — «причудливого, сверхъестественного, странного». Говорят, книга сначала была названа так: «Рассказы о бесах и лисицах» («Гуй ху чжуань»). Действительно, все рассказы Ляо Чжая занимают исключительно сношением видимого мира с невидимым при посредстве бесов, оборотней-лисиц, сновидений и т. д. Злые бесы и неумиренные, озлобленные души несчастных людей мучают оставшихся в живых. Добрые духи посылают людям счастье. Блаженные и бессмертные являются в этот мир, чтобы показать его ничтожество. Лисицы-женщины пьют сок обольщенных мужчин и перерождаются в бессмертных. Их мужчины посланы в мир, чтобы насмеяться над глупцом и почтить ученого умника. Кудесники, волхвы, прорицатели, фокусники являютя сюда, чтобы, устроив мираж, показать новые стороны нашей жизни. Горе злему грешнику в подземном царстве! Сколько нужно сложных случайностей и совпадений, чтобы извлечь его из когтей злых бесов! А главное — судьба! Да, судьба, — вот общий закон, в котором тонет все и тонут все: и бесы, и лисицы, и всякие люди. Судьба отпускает человеку лишь неко-

торую долю счастья, и как ни развивай ее, дальше положенного предела не разовьешь. Фатум бедного человека есть абсолютное божество. Таков крик истстрадавшейся души автора, звучащий в его «книге сиротливой досады», как выражаются его критики и почитатели.

Как же случилось, что все эти химерические превращения и вмешательства в человеческую жизнь, все эти туманные, мутные речи, «о которых не говорил Конфуций», — не говорят и все классики, — как случилось, что Пу Сун-лин избрал именно их для своих повестей, и не только случайно выбрал, но — нет, — собирал их заботливо всю свою жизнь? Как это совместить с его конфуцианством?

Он сам об этом подробно говорит в предисловии к своей книге, указывая нам прежде всего, что он в данном случае не пионер: и до него люди такой высокой литературной славы, как Цюй Юань и Чжуан-цзы (IV в. до н. э.), выступали поэтами причудливых химер. После них можно также назвать ряд имен (например, знаменитого поэта XI в. Су Дун-по), писавших и любивших все то, что удаляется от земной обыденности. Таким образом, под защитой всех этих славных имен, Пу не боится нареканий. Однако главное, конечно, не в защите себя от нападков, а в собственном волевым стремлении, которое автор объясняет врожденной склонностью к чудесному и фатальными совпадениями его жизни. Он молчит здесь о своей неудаче в этом земном мире, которая, конечно, легла в основу его исповедания фатаума. Однако из предыдущего ясно, что Пу в своей книге выступает в ряду своих предшественников с жалобой на человеческую несправедливость. Эта тема всюду и везде, как и в Китае, вечна, и, следовательно, мы отлично понимаем автора и не удивляемся его двойственности, без которой, между прочим, он не имел бы той литературной славы, которая осеняла его в течение этих двух столетий.

Литературный перевод этих повестей, сделанный с оригинала, появляется на русском языке впервые. Все, что появлялось доселе, было или учебным переводом с примечаниями для руководства начинающих китайцев, или же переводом с иностранных переводов. Это обязывает переводчика предложить вниманию читателя несколько соображений, которые могут им, если он того пожелает, отчасти руководить.

Переводчик просил бы, прежде всего, не удивляться всему тому, что не совпадает с привычным чтением. Ведь перевод на китайский язык наших произведений, например, поэм Жуковского, сна Татьяны из «Евгения Онегина», святочных рассказов

и т. д. поверг бы китайца точно так же в крайнее удивление и вызвал бы недоуменный вопрос: где же тут литература, что интересного в этой диковинной чепухе, шокирующей литературный вкус читателя? Опасно — должен предостеречь переводчик, — будучи простым обывателем, мнить себя абсолютным судьей чужеземного творчества.

Выпускаемая книжка, конечно, фактически обращается к любому человеку, умеющему читать, но достоинство ее обращено только к тем, кто любит новое; кто всей душой стремится в новый мир человеческих чувств, переживаний, образов и слов; кто знает цену новому знакомству, новому проникновению в новые тайны человеческой души. Такому читателю, наоборот, показалось бы чрезвычайно странным и неприятным, если бы он в переводах с китайского увидел бы только то, что давно уже знал из своего опыта с чтением русской литературы.

Далее, переводчик просит не забывать, что дело происходит в XVII веке, в Китае, еще совершенно не затронутом европейской цивилизацией и, следовательно, молчащем во всех тех областях, которые в то время требовали от мирового писателя отзыва и ответа.

Затем, хорошо было бы, если бы читатель, натолкнувшись в переводе этих рассказов на шокирующие чувство благопристойности места, взглянул на них так же, как глядят на святающийся предмет близорукие, то есть через некоторые очки, восстанавливающие нормальное зрение и более не позволяющие видеть вместо светящейся точки радужное пятно. Читатель этого типа легко поймет, что фактическая непристойность, изображенная Ляо Чжаем в двух-трех словах, отнюдь не рассчитана на такое внимание, каким окружены соответствующие места у Гюи де Молассана, Золя, не говоря уже о нашей литературе начала XX века, Арцыбашева и других. Переводчику хотелось бы предупредить обычное лицемерие, а тем более ханжество читателя, не умеющего относиться к литературной вещи с должным чувством пропорции ее частей и форм.

Наконец, как выяснено уже на предыдущих страницах, перевод с китайского языка, располагающего двойственностью своего проявления в литературе и в разговоре, на русский язык, который этой двойственности почти не имеет — во всяком случае, ее не любит, — такой перевод не может воссоздать оригинала во всей его красе. Протянуть от своих слов к их родникам те же нити, что протягивает гениальный китаец, устроить читателю тот же литературный пир, что блещет и волнует в рассказах Ляо Чжая, — это значило бы стать Ляо Чжаем на рус-

ской почве. Переводчик есть только переводчик. Ему доступны фразы, слова, иногда образы, но переводчик Байрона — не Байрон, переводчик Пушкина — не Пушкин, и, значит, переводчик Ляо Чжая — не Ляо Чжай. Если ему удалось найти в себе преникновенное слияние двух разных миров — китайского и русского, если он сумел достойным образом передать содержание повестей на русскую литературную речь, легко читаемую и действительно отражающую подлинный текст, не делая уступок в угоду понятливости читателя, — то последний вместе с переводчиком может быть только доволен.

В. Алексеев

1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Эйдлин.</i> От составителя	5
<i>В. Алексеев.</i> Предисловие к сборнику «Лисьи чары»	9

ЛИСЬИ ЧАРЫ

Смешливая Ин-нин	27
Лис выдает дочь замуж	42
Лиса-урод	47
Дева-лиса	51
Лис из Вэйшуя	54
Мохнатая лиса	58
Лиса-наложница	62
Великий Князь Девяти Гор	69
Лиса наказывает за блуд	74
Как он хватал лису и стрелял в черта	76
Фея лотоса	79
Военный кандидат	87
Тот, кто заведует образованием	93
Дождь монет	95
Студент Лэн	98

МОНАХИ-ВОЛШЕБНИКИ

Расписная стена	103
Как он садил грушу	107
Даос с гор Лао	110
Талисман игрока	114

Девница из Чапжжи	118
Врачебное искусство Чжана	122
Воскресший Чжур	125
Сян Гао в тигре	133
В погоне за бессмертной Цин-э	136
Пока варилась каша	147
Фокусы даоса Даня	159
Речь птиц	161
Фужуны в месяц службы	163
Студент Сунь и его жена	167
Разрисованная кожа	171

Некий И, удачливый вор	308
Искусство «Железной рубахи»	310
Нежный красавец Хуан Девятый	312
Единственный чиновник	321
Поторопились	324
Приговор на основании стихов	328
Тайюаньское дело	333
Комментарии	339

СТРАННЫЕ ИСТОРИИ

Химеры Пэн Хай-цю	179
Крадет персик	188
Оскорбленный Ху	192
Седьмая Сяо и ее сестра	197
Си-лю это знала!	204
Чародей Гун Мэн-би	213
Преданная Я-тоу	223
Лис Чжоу Третий	233
Странник Тун	235
Искусство наваждений	239

РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ НЕОБЫЧАЙНЫХ

Ян — Шрам над глазом	245
Перодевший цзиньлинец	246
Схватил лису	249
Верная сваха Цин-мэй	251
Физиогном Лю	265
Цяо-нин и ее любовник	272
Сюцай из Ишуя	284
Содержание чиновника	286
Красная Яшма	287
Семьи разбойников	296
Лисенок Лю Лян-цай	298
Случай с Пэн Эр-цзином	300
Божество спиритов	301
Дун погиб	302

Пу Сун-лин
ЛИСЬИ ЧАРЫ

Редактор *Г. Ярославцев*
Художественный редактор
Ю. Воярский
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Р. Андрианова

Сдано в набор 19/V 1969 г. Подписано
к печати 17/II 1970 г. Бумага ти-
погр. № 1. Форм. 84×108¹/₃₂—12 печ.
л. 20,16 усл. печ. л. 17,9 уч.-изд. л.
Заказ № 2487. Тираж 50 000 экз.
Цена 56 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16.

В. М. Алексеев — автор множества трудов в разных областях исследования китайской культуры, прежде всего — литературы. В 1916 году вышла в свет первая его большая книга о китайском поэте IX века — «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту», в которой, кроме анализа творчества Сыкун Ту, дано огромное количество сведений вообще о китайской поэзии и переводах из китайских писателей разных времен. Уже после смерти В. М. Алексеева были изданы книги «В старом Китае» (дневники его путешествия по Китаю в 1907 году вместе с известным французским синологом Э. Шаванном), «Китайская народная картина» («Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях»), а также «Китайская классическая проза» (часть не публиковавшихся при жизни В. М. Алексеева его переводов).

Принадлежащие В. М. Алексееву переводы представляют собою замечательное явление науки и литературы: высокие художественные достоинства соединены в них с филологической верностью старому китайскому оригиналу. «Рассказы Ляо Чжая о чудесах» — одно из ярких свидетельств этого.